

Фёдор Дубровский



РОТМИСТРЪ



16+

Фёдор Дубровский
РОТМИСТРЪ

«ЛитРес: Самиздат»

2020

Дубровский Ф.

РОТМИСТРЪ / Ф. Дубровский — «ЛитРес: Самиздат», 2020

Зло, разбуженное в первую четверть 20 века, – время гибели дооктябрьской русской цивилизации – никуда из России не делось, оно просто видоизменилось. Ротмистр Гуляков – реальная историческая фигура, оставившая след в архивах, – командир батальона смерти, авиатор, удостоенный за подвиги в Первой мировой войне практически всех боевых наград Российской Империи. Из-за всепоглощающей любви к женщине он перешёл на сторону Красной армии, и это была дорога в одну сторону... Не упоминаемые в учебниках деяния создателей нового государства, кровавая месть низов, жестокость красных командармов – фон, на котором ломались судьбы. Ротмистр выиграл и эту войну, но проиграл жизнь.

Содержание

Глава I	7
Глава II	19
Конец ознакомительного фрагмента.	22

– Кого убоюсь? Да никого, брат. Тем более тархтелки твоей. Улетай, хватит уже стрелять. Вот настырный какой. И я пойду прощения просить – ведь не успею, если попадешь...

Вьедливая степная пыль обильно покрывала и косматые пряди когда-то смоляной бороды, и каждый сантиметр замызганной рясы, и медный наперсный крест священника. Его неподвижная фигура посреди зарослей пожухлой травы напоминала то ли юродивого в рубище на городской свалке, то ли олицетворяющего Хаос мраморного истукана на аллее заброшенной помещичьей усадьбы.

Обе ладони он держал шалашиком над глазами, силясь сквозь знойное марево разглядеть что-то в небесной сини. Оттуда донеслось дрожащее стрекотание двигателя самолета, оно приближалось, черная точка разрослась до разлапистого силуэта пикирующего аэроплана. Замелькали бледные вспышки, с секундным опозданием донеслось туканье пулемета. Священник, так и не оторвавший ладоней ото лба, успел перевести взгляд вниз и заметить ручеек, сноровисто бегущий к нему по растрескавшейся земле. Но ничего не сделал, чтобы уйти с пунктирной линии пулевых фонтанчиков. Две кувалды жарко ударили в живот и грудь, рухнувшее в сухой репейник грузное тело подняло облако пыли. В уносящемся вдаль сознании на грани тьмы мимолетно царпнуло: «Где Свет?»...

Он забулькал горлом и затих, разбросав руки в стороны и судорожно вытянув прямые ноги в солдатских ботинках.

Пасмурно, слякотно. Сквозь взвесь липкого осеннего дождика по старой взлетной полосе, уже забывшей, что такое резина колес аэроплана, шагает человек в брезентовой офицерской накидке и в сапогах, неожиданно не грязных.

Мужчина невысок, спина прямая, движения вкрадчиво-уверенные: так, даже не будучи в лесу, ходят профессиональные охотники. Капюшон закрывает лицо, виден только чисто выбритый подбородок.

Из предвечернего сумрака и мороси боком вылезает ржавая коробка авиационного ангара, в металлических стенах – прорехи, крыши осталось немного, вверху горбатятся голые фермы перекрытия.

Ангар спеленала стена травы по пояс. Пришедший протаптывает себе тропинку, срывает жгуты выюна со скобы высокой двери, тянет – дверь с протяжным скрипом в ржавых петлях приоткрывает щель, он с силой дергает еще – образуется проход, достаточный для того, чтобы боком пробраться вовнутрь.

В пахнущее старой пылью и машинным маслом помещение сквозь дыры в крыше летят дождевые струи, капли барабанят по брезенту накидки. Мужчина откидывает капюшон и оглядывает уже скрадываемые темнотой, громоздящиеся по углам и закуткам узлы авиадвигателей, самолетные винты, куски обшивки фюзеляжа, колеса шасси.

К ближней от входа стене приставлен длинный стол с тисками, обрезками металла, ржавыми болтами и пучками ветоши. На стене над столом – кривая надпись мелом разноформатными буквами: «Гришка поганец мы не дождался ушли к саватеихе приди туда».

Из того, на чем можно сидеть – только стул из ореха с бархатной когда-то подушкой и резной спинкой, сочетающийся с верстаком, как навощенный паркет с кирзовым сапогом.

Костистая мужицкая ладонь, казалось, не чувствующая остроты заусенцев на железках, сдвигает хлам в сторону, освобождая на столе место. Взгляд мужчины останавливается на пустой коробке папирос «Садко» и размокшей газете с царским манифестом от 19 июля 1914 года о вступлении России в войну: «Божею Милостию, Мы, Николай Второй, Император и Самодержец Всероссийский...».

Он шарит под накидкой, выуживает портсигар, раскрывает его, берет папиросу, стучит мундштуком по крышке, разминает, подносит к губам. Но, словно вспомнив что-то, кладет её обратно, защелкнув металлический футляр.

За его спиной в гулкой пустоте раздается надсадный кашель и басовитый голос:

– А вот скажи на милость, зачем летчик кричит: «От винта»?

Мужчина резким кистевым броском зашвыривает портсигар в кучу авиационного мусора и, не оборачиваясь, отвечает:

– Это он о ближнем заботится, чтобы лопастями не порубило.

– Всё равно – выше моего разумения, как это тяжелое железо в воздухе парит. Ты меня зачем позвал, чадо?

Офицер медленно, всем туловищем, будто опасаясь, что увидит не того, кого ждал, поворачивается к собеседнику.

– Не вспомнил больше никого, кто меня понять бы мог...

– ... а я тебе, ротмистр, почти родной, потому что сорок дней назад тобою убиенный? – гоготнул тот.

Темнота выдавливает в пятно света от прорехи в крыше высокую фигуру в грубых солдатских ботинках и в бесформенной ветхой рясе, подпоясанной веревкой. Лица не разобрать. Священник достает из-за пояса скуфью и как-то пристраивает её на копне разметавшихся волос:

– Жертва Богу – дух сокрушенный, а ты, вижу, объясняться да оправдываться пришел.

Передо мной-то незачем. Пули твои были, но вряд ли ты их в меня выпустил. Рука – твоя, но не воля. Беда же в том, что ты ушел с ожесточенным сердцем, и ничего мы с тобой уже не изменим. Хотя я тоже – твоими, сын мой, стараниями – не успел покаяться. Суд вершить взялся, человека жизни лишил, а какой из меня судья. Так что мы с тобой одного поля ягода. Но отталкивать исповедника – грех есть, поэтому приступим, помолясь...

Батюшка подходит к верстаку, расправляет мокрую газету, кладет на нее крест и Библию, невесть как оказавшиеся у него в руках.

– Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое. В чем покаяться имеешь?

Офицер вытаскивает правую руку из-под накидки, складывает три пальца и словно пытается вспомнить, как крестятся. Но осенять себя крестным знаменем не решается, с трудом выдавив:

– Я, батюшка, предал всех. И себя тоже. Любовь к женщине выше долга и товарищей поставил, и нет мне прощения.

– Ну, об этом не тебе судить, да и не мне тоже...

Глава I

По сладкому утреннему юношескому сну обухом ударило:

– Подъём!

Сашка Гуляков распрямляется пружиной, заученным движением ныряет ногами в штаны и в следующую секунду уже набрасывает на голову гимнастерку. В казарме – шорох обмундирования, сопение разбуженных юнкеров и мгновение спустя – грохот, беготня, и вот уже возле тумбочки дневального стоит шеренга. Мельком глянув вниз, юнкера выравнивают в линию носки сапог, отражающиеся в натертых до блеска досках пола казармы.

Все затихает, и вот уже юнкера поедают глазами до малейшего штриха знакомые портреты казаков – героев Отечественной войны 1812 года и Кавказской войны на противоположной стене. На ротного офицера, подьесаула Захарчука по прозвищу Клыч, не смотрит никто – во–первых, по стойке «смирно» не положено головой крутить, а во–вторых, кому же с утра по доброй воле глядеть на него охота. Тем более, что тот демонстрирует крайнюю степень недовольства – у Клыча она выражается в располагающей улыбке, сопровождаемой подергиванием щеки, словно втянутой вовнутрь – след давнего сабельного удара.

Еще один признак подступающего Захарчукова бешенства – вежливость.

– А не соблаговолит ли юнкер заправить портяночку в сапожок? Смотрят со стены предки героические: что, мол, за чучело в строю растопырилось? А это юнкер Завалишин, дорогие предки. Они расхристанный такой, потому как не выпамшишь – ночью жбан браги употребить изволили в компании с тремя такими же мазуриками. Даже мы, когда время не сравнить было, ведрами не жрали! Тем паче ночью, когда справному воину спать положено, набираясь сил для служения Отечеству и престолу!..

Поминание Отечества с престолом было третьей и последней приметой скорого взрыва вулкана. После этого улыбка исчезала, щека дергаться переставала, налившаяся кровью шея распирала воротник, и следовал рев оскорбленного быка, не пускаемого к коровам.

Самое тупое, что мог юнкер предпринять в этот момент – попробовать что–то тявкать. Завалишин пытается:

– Господин подьесаул, никак нет! Ибо..., – фальцетом занудел юнкер.

Захарчук нависает над ним, как слон над туземцем, и орет так, что брызги слюны долетают до Гулякова, стоящего в строю от объекта воспитания через одного юнкера:

– Ибо молчать! Я даже знаю, где брагу взяли! Бабке помогли лошадь павшую со двора снести, она жбан вам и нацедила! Вот это и есть ваше боевое применение, едрёна банда, – конину хотылять! До скончания курса навоз с конюшни выгребать отправлю и за шесть верст носить на огороды!

Остыл Клыч почти так же быстро, как и распалился:

– Выполнение стрельбы из винтовки сегодня, вот сразу будет видно, кто казак, а кто – бурдюк для браги. Напра–фу!..

После утреннего «орального» разогрева ротная колонна юнкеров марширует на стрельбище духоподъёмно, с облегчением и с песней. Что бы там ни ждало впереди, хуже сегодня уже быть не должно: как показывала практика, утреннее извержение подьесаула сильно истощало его дневной карательный потенциал.

Наше дело с кем подраться –

С неприятелем всегда,

Мы не будем дожидаться,

Когда он придет сюда

Ночки темны, тучки грозны

Над головушкой плывут,
Оренбургские казаки
На врага в поход идут
Засверкали, заблестели
Наши русские штыки,
Испугались, оробели
Все России вороги!

Солнце приваривает мокрые гимнастерки к спинам, горячая земля подогревает снизу живот, а раскаленную винтовку с трудом терпят ладони. Пот заливает и жжет глаза, ростовые фанерные мишени едва различимы в струях знойного марева. Захарчук ходит вдоль лежащих юнкеров и раздвигает носом сапога их ноги в стороны:

– Что яйца зажали, как гусары на балу! Шире ноги – тверже упор будет!

Гуляков и Завалишин лежат на линии огня рядом.

– Мать его! Три патрона в молоко, не вижу ничего, глаза застит! Клыч сгнобит в конюшне...

Завалишину, страдающему от вчерашнего – вернее, от сегодняшнего ночного – на жаре совсем худо: в его груди что-то клокочет и булькает, как в кастрюле с холодцом, серое лицо покрыто крупными каплями пота, который льется струйкой с подбородка, обильно смачивая пыль.

– Не паникуй, Сёмка, сейчас поправим...

Гуляков приподнимается, смотрит, где Захарчук. Тот рычит что-то педагогическое юнкеру на левом фланге, прижимая ногой локоть стрелка к земле. Гуляков оттирает пот с лица, несколько раз сильно зажмуривает глаза, переносит ствол своей винтовки в сторону соседней, завалишинской, мишени, резко выдыхает, целится и трижды нажимает на спуск, быстро пере-дергивая затвор. В центре квадратной фанерной головы вспухают ежики из белой щепы двух пулевых отверстий, еще одно появляется пониже, на груди.

Звучит команда подьесаула:

– Разряжай! К мишеням, бегом!

Юнкеры стоят каждый возле своей цели. Вдоль фанерных истуканов медленно идет Захарчук, помечая карандашом в замусоленной тетрадке результаты. Подходит к мишени Завалишина, ковыряет пальцем дырки от пуль, хмыкает:

– С испугу, что ли, в лоб дважды заправил, Завалишин? С похмелья лучше бьешь, чем на трезвую голову – это новое слово в стрелковой подготовке. Свободен!..

Спасенный от конюшенного навоза, юнкер бежит к товарищам, а ротный переходит к следующей мишени. Считает пулевые отметины, сгрудившиеся в центре фигуры.

– Хвалю, Гуляков. Как всегда, кучно, красиво, прямо как на картинке в наставлении.

– Служу Отечеству!

Захарчук направляется, было, к группе юнкеров, расслабленно сидящих в кружок на траве и громко гогочущих, но, пройдя несколько шагов, вдруг останавливается:

– Гуляков, а на фронте что этот ханурик будет делать, если тебя рядом не окажется? Там или он пулю в лоб, или ему. Ведь в лютое пекло идёте, сынки, а как выживать, толком не знаете. Наставления – это одно, а вымуштрованный германец – совсем другое. Пошел бы с вами, да кто ж отпустит... За одного тебя спокоен, не пропадешь, бог даст...

– Справимся, господин подьесаул. Как учили...

Клыч вздыхает, сует тетрадку за голенище сапога и идет к юнкерам. Окрест разносится рыканье:

– Ну что рассупонились, как бабы после бани? Оружие чистить! Не воинство – богадельня хуторская на заутрене!..

Станем надевать ружье, и шашку, и суму,
Станем забывать да отца-мать и жену.
С песней разудалой мы пойдем на смертный бой,
Служба наша служба – чужедальна сторона,
Буйная головушка – казацкая судьба...

Из дверей ресторана валят клубы табачного дыма, а слова старой казачьей песни перебиваются звоном посуды, молодецким хохотом, женским визгом. На крыльце сгрудились несколько выпускников Оренбургского казачьего военного училища: вчерашние юнкера, прапорщики образца августа 1914 года, то и дело косятся в стекло входной двери, выглядывая, как сидит на них первая офицерская форма, не топорщится ли где, ровно ли лежит портупья, не скособочилась ли шашка.

Праздник по случаю выпуска уже достиг той стадии, когда сплоченный поначалу коллектив разбивается на небольшие группы по интересам выпивающих, закусывающих и перебивающих друг друга людей. За столиком в углу – подьесаул Захарчук при полном параде, с медалями, подкрученными усами и томно обмахивающейся веером дородной супругой, которой уже скучно: она меланхолично жует черешню, сплевывая косточки в соусник. Ротный чокается рюмкой с поминутно подходящими подопечными, для которых особое удовольствие – услышать от наставника не привычное «охламон» или «булдыга», а уважительное обращение равного к равному. Подьесаул благосклонно величает каждого юного офицера, подсаживающегося с рюмкой, «господин прапорщик», отчего те розовеют, распрямляют плечи и тщетно стараются напустить солидности.

Гуляков подпирает стену в центре зала в компании с дамой в сильно декольтированном платье. Она изо всех сил кокетничает, но энтузиазма у прапорщика в новеньких погонах это не вызывает.

– Александр, вы сегодня на присяге в бурках и папах были такие романтичные! Как горцы. Только те дикие, а вы приличные люди стали теперь. Украдите меня, бросьте через седло, прижмите рукой, вот здесь (берет ладонь Гулякова и кладет к себе на поясницу) и скачите куда-нибудь, чем дальше отсюда, тем лучше. Вы сегодня клятву давали – защитником быть. А я так хочу защиты, ну прямо так нуждаюсь! Увезите меня от Калюжного. Когда он меня кушает своими безумными глазами, мне кажется, что заползает змея. Вот сюда...

Она согнутым пальцем оттягивает платье на груди, давая возможность собеседнику заглянуть туда, где в чашках корсета парится обильное белое тесто с голубоватыми прожилками.

Дама царапает пересохшими губами ухо собеседника:

– Помню, Саша, твои губы там...

Гулякову скучно. Под ложечкой уже холодок предвкушения первого боя, непреодолимое желание завалить пару германцев, а лучше – сойтись в сабельном, и рубить, рубить...

– Я, Авдотья Серафимовна, клялся Отечество блюсти. Женщин поперек седла класть – это другое ремесло. А Калюжный уже напился и не для вас опасен, а сам для себя...

Возле столика в центре зала атлетически сложенный брюнет в сапожках с неуставными каблуками, угольным чубом и горячечным взором нетрезвого Мефистофеля, подбадриваемый криками, держит плашмя шашку, на которой стоит рюмка с водкой. Он подносит ее ко рту, частью – проливая, частью – выхлебывая, подбрасывает мелкую посудину шашкой и коротким ударом разбивает в стеклянную пыль.

От раздавшейся овации и восторженного женского визга он впадает в раж, ловит за рукав норовящего прошмыгнуть бочком официанта с блюдом фруктов:

– Стоять вот тут, поднос ровно держать...

Офицер пристраивает сверху фруктовой горки большое красное яблоко. Блюдо ходит ходуном в руках официанта, моментально смекнувшего, что сегодня точно не его день.

– Человек, не дергайся, цел будешь, – Калюжный отходит на шаг и кладет лезвие шашки на левую ладонь, прикидывая траекторию удара. – Глаза мне завяжите кто-нибудь, ну же!..

В притихшем зале вызывающе гроыхает покотившаяся пустая бутылка, задетая под столами чьей-то ногой, да неосторожно взвизгивает скрипка в руках тучного еврея – музыканта, предусмотрительно отошедшего под прикрытие увитой гирляндами колонны.

Гуляков, отодрав от себя собеседницу, подходит к Калюжному и цепко сжимает его ладонь на рукояти шашки.

– Андрей, покалечишь штатского. Выйди во двор, остынь. Завтра – на фронт, там геройствовать будешь...

С полминуты горячечные угольки одних глаз сверлят серый металл других. Две фигуры застыли в угрожающей статике: пудов семь накачанных мышц Калюжного нависают над невысокой сжатой пружиной – из тех, что не могут давить, потому что нечем, а, распрямляясь, взрываются сразу огромным количеством злой жилистой энергии.

– Ты был лучшим на курсе, Гуляков. Но это не значит, что ты вообще лучший, – Калюжный пытается освободить свою руку с шашкой, но тиски ладони сокурсника не позволяют. Сильные пальцы надавливают на какую-то точку на запястье, и ладонь с оружием разжимается.

Гуляков хочет уйти, но вдруг останавливается, берет с блюда, с которым все еще стоит рядом онемевший официант, ананас и неожиданно подает Калюжному. Тот машинально сжимает листья, держа плод на вытянутой руке, хочет что-то сказать, но не успевает – Гуляков быстро делает шаг вперед и с разворота, не примериваясь, почти неуловимо для посторонних глаз, взмахивает шашкой. Сверкающее полукружие клинка, коротко свистнув, отсекает плод в сантиметре от зеленого венчика и пальцев Калюжного. Ананас глухо стучается об пол.

Гуляков вдвигает шашку в ножны на ремне Калюжного, с приклеившейся улыбкой разглядывающего остаток фрукта у себя в руке, и быстро идет к выходу. Скрипач вылезает из-за колонны, подкручивая колки на грифе скрипки. Блюдо из рук официанта, наконец-то, вываливается и с оглушительным звоном падает, раскатывая яблоки с грушами по паркету.

В кривом окопе, укрепленном столь же кривыми стволами осины, на корточках сидит труп солдата с австрийским штык-ножом, засаженным под лопатку по рукоятку. Настырно гудят мухи, мешающие унтеру Масленникову выуживать ложкой из банки консервы. Другой унтер, Рапота, свою половину уже съел, привалился к брустверу и вытирает ложку песком. Он на озере Нарочь повсюду, как и во всей Виленской губернии – мягко постелен снизу, сочится струйками сквозь обшивку окопа сбоку, сыплется сверху после редких разрывов снарядов, пускаемых германцем не столько для поражения живой силы противника, сколько в рамках заведенного порядка.

– Похоронная команда будто сама сдохла, какой день уж нету. Пожрать нельзя, воняет, как в морге, – Масленников быстро прикрывает консервную банку ладонью, когда бруствер содрогается от недалекого разрыва, и окоп заволакивает пылью.

Рапота обжимает зубами мундштук папиросы, он преисполнен послеобеденной флегмы:

– Пожрать нельзя, когда в рот, положим, ранило тебя. А ты в морге-то когда был в последний раз?

Масленников воодушевленно рыгает, ударяясь в романтические воспоминания:

– Прошлым летом когда во Пскове стояли, обхаживал прозекторшу в госпитале. Захожу как-то, а она в мертвяке копается, руки по локоть в кровище. И говорит ласково: «Сейчас,

погодь, допотрошу болезного, и пойдём к моей бабушке чай пить с вишневым вареньем». Тьфу!

– Почаевничал?

– Не сложилось. Прямо там, в предбаннике, завалил медицину на мешки с бинтами. А после этого зачем уже к бабушке идти? Нету резона никакого. Говорю: потроши дальше, голуба моя, а у меня служебная надобность образовалась неотложная...

Рапота отработанным щелчком посылает окурок далеко за бруствер:

– Вон штаб-ротмистр идет, сейчас выпишет служебную надобность...

По ходу сообщения спешит Гуляков и после очередного крутого поворота натывается на унтер-офицеров, вяло пытающихся изобразить уставное вставание. Масленников отставляет банку, и ее, беззащитную, тут же облепляет слой жирных мух.

Гуляков уже сжился с войной как с тяжелой необходимой работой, где ничего, кроме нее самой, быть не может и не должно. Казалось, случись сейчас неожиданный мир, штаб-ротмистр в нем растеряется и потеряется, как крестьянин из зачуханной губернии в Таврическом дворце. Умом он понимал, что есть где-то удовольствия, вкусная еда, мягкая постель, музыка и прочие тонкие материи. Но с первого дня фронта он приказал себе об этом не думать, чтобы не манилось, а так как к приказам относился свято и истово, то и всё гуманитарно-гедонистское переместилось у него куда-то в придонные слои подсознания, где складировано все ненужное.

Зафиксировав факт неурочного принятия пищи, офицер закипает:

– Опять брюхо набиваете! А если дело случится? У вас же на рожах написано: «Сейчас бы вздремнуть».

Масленников демонстрирует живой интерес:

– А что, вашбродие, аль пойдём куда? Сидим тут, как в берлоге, одно и остаётся – похарчеваться да поспать.

– Командование ставит задачу сорвать наступление Гинденбурга на Ригу. На рассвете полк атакует, готовьте роту.

Рапота сплевывает:

– Да кого готовить, беда с этой ротой. Из Смоленска пригнали деревенщину затурканную. Один вон с топором за поясом ходит, говорит, сподручнее, чем с винтовкой, не нужна она ему...

– Пойдём с теми, кто в наличии. Утром не поднимете их из окопа – лично в трибунал вас сведу. Учить надо людей, а вы жрёте тут втихаря.

– Учил мужик бабу бриться. Пустое это, вашбродь, чему за неделю лапотников научишь? Да и, сами знаете, на фронте гимназия одна: пинком в омут. Выплыл – годишься, утонул – не годен...

Рапота, предупреждая гнев офицера, вытягивается во фронт, застегивает верхнюю пуговицу гимнастерки и сводит глаза к переносице:

– Есть готовить роту!

Предрассветная туманная мгла приглушает звяканье амуниции и, кажется, смягчает напряжение перед боем и страх, которым пропитано все вокруг.

Необстрелянные смоленские рядовые сидят в рядок на дне окопа и судорожно курят, на восковых лицах – ужас перед неминуемым. Один высвобождает из-за пазухи деревянный крест на черном шнурке, чтобы был поверх гимнастерки. Другие, завидев это, тоже расстегивают пуговицы, вывешивая наружу крестики. Один из новобранцев, чуть постарше остальных, с отрешенным видом шваркает куском известняка по пристегнутому к винтовке штыку, словно по полотну косы на утреннем покосе.

Штаб-ротмистр Гуляков и унтер Рапота лежат животами на бруствере, вглядываясь туда, где совсем скоро будет бой, и утреннее затишье взорвется выстрелами и яростными криками.

Изредка в тумане, ничего почти не освещая, вспыхивают осветительные ракеты. Офицер разглядывает линию обороны противника в бинокль – сквозь мглу витки колючей проволоки перед немецкими окопами едва видны.

– Вашбродие, вон командный пункт, левее... Где пулемёт торчит. Что-то они взгомозились сегодня, обычно спят долго. Может, прознали что?

Гуляков наводит бинокль на немецкий командный пункт – там мелькают встречный блеск линз бинокля под острым навершием германской каски.

Гуляков, глянув на часы, вполголоса командует:

– Рапота, через три минуты сигнал атаки. Принеси мне винтовку...

Унтер, словно ждавший этой команды, быстро подает трехлинейку. Офицер, сняв фуражку, отдает её Рапоте, кладет ствол на бруствер и утаптывает ногами площадку в зыбучем песке, нащупывая точку опоры. Щека привычно вжимается в отполированное дерево приклада. На несколько секунд стрелок закрывает глаза, передергивает затвор, досылая патрон в патронник, с силой выдыхает сквозь сжатые губы и едва слышно шепчет:

– Прости и управь, Господи...

Палец по миллиметру тянет спусковой крючок. Выстрел в утренней тиши бьёт резко и оглушительно – солдаты испуганно вжимают головы в плечи: началось! Пуля калибра 7.62 с математической точностью ввинчивается в линзу бинокля германского офицера, разбрызгивая по окопу осколки стекла и ошметки мозга. Тело с половиной черепа отлетает назад, впечатывается в стенку окопа и грузно сползает вниз.

Шипя, взлетает ракета, слышится истошный крик унтера Рапоты:

– В атаку, ребятушки, пошли-пошли! Шевели задницей за царя и отечество! Не торчать на месте, кочерыжки, покосит!..

На открытом пространстве, выбравшись из окопа, новобранцы бестолково суетятся, плохо понимая, куда бежать и зачем. Перед ними оказывается Рапота с шашкой и наганом, его лицо страшно:

– Расстреляю, суки-и-и-и, вперёд!!

Рваная цепь – многие отстали, кто-то вообще завалился обратно в свой окоп – двинулась в сторону немецкой оборонительной линии, расцветенной огоньками выстрелов. Чуть поодаль другую цепь солдат, беспрестанно кланяющихся перед пением пуль, увлекает за собой Гуляков. Раздается нестройное «ура!» – безысходное и отчаянное, которым наступающие пытаются заглушить ужас.

Шаг влево, два вправо, пять прыжков вперед – чтобы затруднить врагу прицеливание... Бегущий Гуляков натывается на стоящего на коленях солдата – того, что первым вывесил поверх гимнастерки нательный крест. Тот, стоя на коленях и не обращая внимания на настырно зудящие вокруг пули, истово бьет себя двумя перстами в лоб, живот, погоны и, раскачиваясь, выкрикивает фальцетом в небо:

– Отче! Наш! Иже! Еси!..

Гуляков сходу бьет в его голову кулаком, в котором зажат револьвер. Рядовой катится по земле, закрывая лицо руками, и в голос воет.

– Встать, пошёл! Бог – там, здесь его нет!..

Штаб-ротмистр вздергивает солдата за шиворот на ноги, увлекает за собой. Оружие воин потерял, едва выбравшись из окопа, и теперь бежит за офицером с пустыми руками.

Линия обороны неприятеля возникла перед цепью вдруг и сразу, казалось ведь, что до германского окопа еще бесконечно долгий путь. Стрельба затихает, сменяясь руганью на двух языках в рукопашной. Так обычно дерутся звери за территорию или самку – самозабвенно, на инстинктах, отключив мозг, как ненужный орган в драке. Новобранцам она понятнее, чем воинская наука – как в родной деревне на Святки, только не до первой крови, а до раздробленных голов и выпущенных кишок. И вот уже всё меньше криков, и всё больше – стонов.

Рычащий в запале боя Рапота штыком пригвозждает немца к стенке обшитого досками окопа, пытается выдернуть трехлинейку, но не может, бросает её и двумя растопыренными пальцами бьёт в глаза другого набегающего противника. Тот орёт и падает на колени. Унтер разбивает ему голову треногой от пулемета, подвернувшейся под руку.

Сверху на Рапота наваливается упитанный офицер в очках, привязанных к голове бечевкой, и тянется с кортиком к горлу. Рапота хрипит что-то нечленораздельное и обеими руками, дрожащими от напряжения, из последних сил сдерживает жало клинка в сантиметрах от горла.

На них натывается Гуляков, он пытается выстрелить в обтянутую шинелью спину немца, но в нагана кончились патроны – раздаётся пустой щелчок бойка. Штаб-ротмистр боковым зрением выхватывает щуплую фигуру прижавшегося к стенке окопа солдата из своей роты. Тот – в ступоре, в остекленевших глазах – ужас, за ремнем на поясе – топор. Гуляков выхватывает его и, чуть присев, как с колуном перед суковатой чуркой, двумя ударами отрубает голову немца. Обезглавленное тело несколько секунд сучит ногами и беспорядочно машет руками.

Из-под него выбирается черный от чужой крови Рапота, без сил садится на дно окопа и, отдышавшись, дрожащими руками достает портсигар, протягивает папиросу Гулякову. Закуривает сам, раз за разом с силой втягивая в себя дым, который из него почему-то не выходит, задерживаясь где-то в утробе. Вокруг разноязыко голосят раненые.

В окоп вваливаются солдаты – то ли из подкрепления, посланного вдогонку первым ротам наступающих, то ли предусмотрительно отлежавшиеся на нейтральной полосе. Унтер хочет что-то им сказать, но только машет рукой, прогоняя прочь. Протирает рукавом залитые кровью два солдатских Георгиевских креста на гимнастерке и хрипит:

– Иваныч, с меня причитается...

– Сочтёмся.

Гуляков, сунув папиросу в зубы, подзывает рядового – тот так и стоит рядом, не в силах оторвать взгляда от отрубленной головы, валяющейся у него под ногами.

– Как звать, воин? – спрашивает штаб-ротмистр, запихивая ему обратно за ремень окровавленный топор.

– Добрый я...

– Да вижу, что не сатрап. Фамилия?

– Фамилия Добрый, вашбродие.

– Рапота, этого – в обоз дрова колоть. Нет у нас тут партизан Давыдова. Чтоб я его больше на передовой не видел...

Канадский Галифакс был заурядным портовым городом, хотя и закладывался как опорная британская атлантическая база в Северной Америке. В 1917-ом Галифакс в буквальном смысле прогремит на весь мир, когда в порту рванет загруженный тысячами тонн взрывчатки французский транспорт «Монблан», стерев с лица земли припортовый район Ричмонд, погубив, ранив, лишив зрения около одиннадцати тысяч человек.

Но это будет через полгода, в декабре, а весной Галифакс являл собой обычное портовое захолустье, о котором за пределами Канады мало кто знал – деревянные дома, которые порой заваливаются от порывов ветра, пяток кабаков, школ и церквей и множество пакгаузов. Вся жизнь городка крутилась вокруг порта, прибытия и отплытия пароходов, уходящих отсюда в Европу.

«Христианиафьорд» ошвартовался в порту Галифакса в один из апрельских дней. Свинцовую воду, плюхающую в пирс, сечет снежная крупа, портовые матросы одеты в меховые куртки.

– Да, весной здесь еще и не пахнет. Унылая дыра, господа. Вы как хотите, а я даже на палубу не выйду. Да пограничники и не выпустят – всерьез, кажется, взялись. Но давайте еще партиюку, – с напускным безразличием, задерживая шторку иллюминатора, говорит мужчина в

бархатной жилетке, щуплого телосложения, но с непропорционально огромным животом. На его голове – седина, но бакенбарды еще сохранили рыжий оттенок. Он вытягивает из кармашка жилета за массивную золотую цепь неожиданно маленькие часы, качает головой, и возвращается за овальный стол в центре большой каюты, где сидят ещё трое. Раздающий профессионально раскидывает карты – они разлетаются по сукну точно к игрокам.

Один из них – брюнет с беспорядочной смоляной шевелюрой, крючковатым носом и вишнево-пухлыми губами, нервно закручивает в пружину небольшую бородку –эспаньолку и отрывисто, с паузой между словами – манера профессиональных ораторов – говорит:

– Гершон, ты – паникёр. Ничего они не ищут.

– Я не паникую, а высказываю озабоченность. Третий час стоим. Если бы не искали ничего, Лева, мы бы давно отплыли. Транзитные пароходы подолгу здесь не держат, уголь загрузили – adieu. На борту более двухсот русских политэмигрантов. Если на каждого хотя бы по десять минут, мы тут до утра простоим. И пограничники этого не могут не понимать.

– Канадские пограничники так же ленивы и неповоротливы, как и прочие другие. И алчны, – мужчина с эспаньолкой снимает пенсне, капают на стекла по капле «Белой лошади» из своего стакана, ожесточенно трёт бархоткой. – Американцы нас выпустили, значит, и у канадцев рвение чисто показное.

– Лёва, ты – романтик, – вздыхает Гершон. – Придумываешь сам для себя благополучный исход любого дела и свято веришь в то, что так и будет. Ты на Манхэттене жил в лучших апартаментах, сладко ел и мягко спал. И свято уверовал в то, что с комфортом и до России добраться – раз плюнуть.

Тот, кого называют Львом, бросает карты, быстро подходит к иллюминатору, широко распахивает его, несколько раз шумно вдыхая холодный воздух. Оборачивается и зло, одними губами, улыбается:

– Я даже больший реалист, чем ты, Гершон. Я не свято верю, а просчитываю. Марксист обязан опираться не на эмоции, а на холодный расчет. В одесской тюрьме я знал, что надзиратель через три месяца попросит мзду за послабление режима, за возможность получать литературу и хорошую еду. Он попросил через два месяца. Арифметическая погрешность...

Раздается стук, в каюту один за другим входят три офицера.

– Военно-морские силы Канады. Господа, пожалуйста, документы и личные вещи к осмотру...

Игроки бросают карты, раскрывают уже приготовленные саквояжи. Пока два офицера бегло оглядывают нехитрый скарб, третий – судя по возрасту, он и по званию старший – направляется прямоком к тому, кого звали Львом. Тот делает вид, что не может справиться с замком своего саквояжа. С бесстрастным лицом, какое бывает только у пограничников и судей, офицер открывает паспорт, читает вслух:

– Бронштейн Лейба Давидович, – пограничник раскрывает страницу с визами. – Следуете из Соединенных Штатов Америки с пунктом назначения Петроград, Россия?

– Любезный, судя по всему, вы прекрасно умеете читать. Зачем вам мои слова? Думаете, скажу: нет, я Франсуа Вольтер, следую в Антарктиду?

– Потрудитесь открыть ваш саквояж.

– Там американские газеты с моими статьями. В них вам будет сложно разобраться.

– И все же я хотел бы взглянуть. Читать не стану, хотя буквы знаю, – уголок рта пограничника едва заметно дернулся вверх, что, очевидно означало некую эмоцию, граничащую с улыбкой.

Лейба Давидович распахивает саквояж и отходит в сторону и чуть назад, оказавшись у офицера за спиной. Тому это явно не нравится:

– Я бы попросил вас, господин Бронштейн, встать вот сюда.

Тот подчиняется и встает у стола, сложив руки за спиной. Выпячивает хилую грудь и поминутно нервно облизывает губы, отчего они становятся похожими на свежее мясо. Выражения глаз за стеклышками пенсне не разобрать.

Офицер, не снимая перчаток, ворошит кипу газет, обнаруживая между ними журнал с томной девицей на обложке – из одежды на ней только чёрные чулки в сеточку.

Бронштейн, вздернув подбородок, быстро произносит:

– Это – сувенир, к темам моих научных интересов отношения не имеющий...

Пограничник снова сделал движение уголком рта:

– Господин Бронштейн, меня и ваши научные интересы не интересуют. А вот это, пожалуй, любопытно...

Под журналом с девицей обнаруживаются плотно уложенные пачки долларов в банковской упаковке.

Один из пассажиров хрустит суставами пальцев, другой принимается набивать трубку, третий со словами «душно здесь» идет к распахнутому иллюминатору. Хозяин саквояжа подсакивает к нему и пытается запихнуть обратно газеты. Ему не позволяют. Один из офицеров подходит к двери, приоткрывает, что-то говорит, в каюту входят двое в штатском, будто ждавшие там именно такого развития событий.

Один из пограничников защелкивает саквояж, опутывает ручки шпагатом, опечатывает карманным пломбиром. Старший интересуется:

– Вы заявляли властям о пересечении границы с валютой Соединенных Штатов Америки? Имеются ли разрешительные документы на сей счет?

Лейба Давидович всем видом демонстрирует полное непонимание с возмущением:

– Да помилуйте, это гонорары за публикации и лекции в университете! Это мои личные средства, и я имею право их перевозить, не ставя в известность никакие власти!

Старший офицер прячет в кожаную сумку на бедре паспорт пассажира:

– Господин Бронштейн, вы же образованный человек и прекрасно отдаёте себе отчет в том, что совершаете преступление. Здесь более чем солидная сумма, требующая декларирования. Я вынужден задержать вас в Галифаксе, господа, до выяснения обстоятельств...

Хозяин валюты не выдерживает и срывается на крик:

– Вы творите произвол похлеще, чем российская охранка! Уверяю вас, господа, скоро вы будете приносить извинения, а я подумаю, принять ли их!..

Попутчики Бронштейна выходят сами, а его самого, отчаянно сопротивляющегося, двое в штатском выводят, крепко взяв под руки. Он, как заведенный, выкрикивает:

– О, Господь мой Бог! Неужели никто не поможет сыну вдовы? Неужели никто не поможет сыну вдовы?..

Не проходит и нескольких часов, как вся четверка, хохоча, вваливается в свою каюту. Бронштейн задвигает саквояж ногой под кровать, подходит к столу, свинчивает крышку с бутылки, умело крутанув её, делает из горлышка большой глоток и весело интересуется:

– Ну и кто из нас романтик, Гершон?

«Христианиафьорд» бодро отвечает ему прерывистым гудком. На пирсе орут матросы, отдающие швартовы, пароход дрожит и дробит ледяную воду винтами.

В припортовом ресторанчике, слышав этот гудок, старший офицер–пограничник отхлебывает из высокого стакана сразу едва ли не треть пинты крепкого пива и говорит своему коллеге:

– Это не в меня плевков, а в лицо всем военно–морским силам и стране! Деша с предписанием отпустить Бронштейна и всю эту марксистскую банду пришла из Лондона за подписью Его Величества. И никогда еще не было, чтобы деша с такой скоростью шли! На десять тысяч долларов революцию, может, и не устроишь, но полк вооружить можно. Я ничего не понимаю, Пол. И я страшно зол. Дело не в русских – пусть сами разбираются со своими поли-

тическими диверсантами и выясняют, зачем они обратно в Россию вдруг полезли отовсюду. Просто его торжествующую рожу, когда он забирал свой саквояж, я никогда не забуду...

В марте 1916 года штаб 267-го пехотного полка разместился возле белорусского озера Нарочь в усадьбе статского советника, проходившего по фискальному ведомству и под военный шумок сбежавшего в нейтральные Нидерланды. В страну Рембрандта и пива он прибыл не с пустыми руками – прихватил собранные за полгода по всей Виленской губернии поземельный налог и процентный сбор с акционерных предприятий. А на родине оставил сошедшую с ума супругу и оправдательное письмо: «Невыносимо мне более глядеть на страдания Отечества, увязшего в войне из-за бездарности армейской верхушки и предательства гнилой интеллигенции, продавшей врагу».



Жена его целыми днями бродила по усадьбе, выпрашивая у офицеров «ружье, чтобы избавиться от этого подлеца мир». Те опытным путем определили, что отвечать примерно следует так: «Сударыня, вскорости нам подвезут новые ружья, которые гораздо удобнее для дамы, чем нынешние – тяжелые, опасные и воняющие порохом». После чего та моментально успокаивалась на какое-то время.

Только что закончилось совещание штабных офицеров. Командир полка подполковник Лозинский раздраженно и, как со стороны могло бы показаться, бессмысленно черкает что-то

на карте толстым красным карандашом. Два офицера секретной части убирают со стола бумаги в железный ящик с замком. Трое курят, отойдя к противоположной стене, чтобы не дымит на некурящего комполка, и разглядывают на стене коллекцию старинного оружия беглого статского советника – палаши, алебарды, шашки, пистолеты.

Гуляков снимает с гвоздя дуэльный пистолет, взводит изогнутый курок, щелкает спуском.

– Александр Иванович, не стоит твоего внимания, – улыбается довольно пожилой уже поручик с тонкой дамской папирской. – Для командира батальона смерти это баловство. Тебя я не представляю в поединке с пистолетиком. Пулемет – куда еще ни шло, хотя с ним сходиться неудобно.

Гуляков, вздохнув, вешает пистолет на стену:

– Оружием, Сергей Гаврилович, выбирать надобно гранаты, тогда сходиться вообще нужды не будет...

Все смеются, но Гуляков кажется серьезным:

– Я бы, господа, удовлетворения на аэропланах попросил. Если на двух машинах лоб в лоб сойтись, труса отпраздновать не выйдет. Хожу сейчас в полевой авиаотряд, по мере сил постигаю технику. «Илья Муромец» триста пудов бомб берет на борт. Нам пару таких богатырей – сколько пехоты сберегли бы. Вон генерал Брусилов это понял, аэропланы не стеснялся применять...

Штабс-капитан с черной повязкой, прикрывающей пустую глазную впадину, погасив окурок в кадке с фикусом, вздыхает:

– А если таких аэропланов сотню, то мы, кроты пехотные, без надобности будем. Знай себе – летай, бомби германца, не война, а сказка...

Два ординарца заносят большую корзину со снедью, офицеры оживляются в предвкушении подведения итогов совещания. Ординарцы ставят на стол несколько бутылок вина и пару графинов водки, нехитрую закуску, столовые приборы, которыми удалось разжиться у умалишенной хозяйки.

Лозинский берет рюмку и, осторожно вытянув губы, пробует водку, перекатывая во рту. Удовлетворившись ощущениями, кивает головой и тяжело поднимается из кресла:

– Господа офицеры! За успех вчерашнего дела! Полк удостоен похвалы командующего. Хотя, положи руку на сердце, нас тут поставили, чтобы мы легли. Как и было задумано, германец решил, что это мы здесь, а не генерал Брусилов под Луцком, в наступление пойдем. Замысел удался. Всех благодарю за службу!

Офицеры гремят стульями – «Служим Отечеству!» – садятся, синхронно опрокидывают рюмки и дружно хрустят пупырчатыми июньскими огурцами. Поручик Сергей Гаврилович опять откуда-то выуживает дамскую папиросу, но, покатав ее в толстых пальцах с въевшимися в кожу черными пороховыми точками, с сожалением откладывает.

Лозинский наполняет третью рюмку:

– Господа, прибыл представитель ставки проездом от Юденича. Пару недель пробудет у нас. Знакомьтесь, господа, ротмистр Калюжный...

Гуляков видит знакомые, только чуть огрубевшие, черты лица вошедшего офицера – хищные крылья античного носа, как будто приклеенный ко лбу смоляной чуб, буравчики черных глаз.

– Андрей! Калюжный! Вот кого не ожидал увидеть не с шашкой, а с бумажкой!

– Узнаю Гулякова: кто в рукопашную не ходит, тот штатский жулик. Здравствуй, Саша...

Калюжный осторожно обнимает товарища по училищу, словно портной, снимающий мерку.

Гостя усаживают за стол, ставят перед ним рюмку и прибор, хотят налить водки, но тот качает головой и жестом показывает на бутылку с вином. Пехотные труженики разглядывают

свежую форму штабного служака, ушитый по фигуре китель, белые, будто сегодня намеленные аксельбанты, ухоженные руки.

– Ну, рассказывайте, что-нибудь, ротмистр. Мы тут уже плешь проели друг другу своими разговорами, – Лозинский откидывается в кресле, изображая интерес.

Калюжный, отправив в рот кусок говядины с кровью, честно пытается его прожевать.

– Непокойно, господа. Голодных много, очереди за хлебом. Тыл разваливается, народ устал от войны.

Комполка замечает мучения гостя:

– Да оставьте вы это мясо, ротмистр, оно непобедимо, подметку легче съесть. Империя рушится, а граждане – на винных складах. Конечно, устанешь, утомительное это дело – водку жрать, не просыхая...

Лозинский так и не дошел до любимого тезиса о том, что только армия пока еще способна не позволить Везувию похоронить Помпеи – раздаётся тянущий за душу свист снаряда и близкий разрыв. В зале со скрипом качается внушительная люстра с десятками хрустальных – каждый по килограмму, не меньше – подвесок: все разом смотрят вверх, прикидывая, куда та может рухнуть.

Подполковник просит Гулякова:

– Ротмистр, сходите, гляньте, что там такое.

Гуляков надевает фуражку, выходит из здания и ждет, пока глаза привыкнут к темноте. Доносится треск ломаемого кустарника и сдавленные ругательства – из сада появляется дежурный офицер – начальник караула.

– Что это было? – интересуется Гуляков.

Начкараула радуется, что можно с кем-то поделиться распирающей его праведной злостью:

– Да свои! В артдивизионе новые орудия получили, зарядили одно фугасным, чтобы на рассвете испробовать. А какой-то засранец ненароком спуск нажал – там другая конструкция, инженеры, мать их в станину...

Гуляков, пользуясь случаем, идет по нужде к ближайшему дереву, задирает голову и разглядывает поземку ярких звезд на угольном небе:

– Повезло, с перелётом ушёл, а то ещё горячего не подавали...

Из открытого окна доносится звон бутылок и взрыв хохота, смолкающий, когда кто-то из офицеров произносит тост:

– Господа, за Отечество и армию! Господин подполковник! Петр Петрович! Ваше высокоблагородие, за вами – хоть в Африку!..

Устроеной штабной жизни приходил конец. Спустя три дня дивизион крупновских полевых пушек калибра 150 мм, скрытно развёрнутый немцами в трёх верстах, накрыл усадьбу первым же залпом. От штабс-капитана, дежурившего в тот день по штабу, остались повязка с глаза и ноги в начищенных сапогах. По развалинам бродила каким-то чудом уцелевшая хозяйка, таская за ремень трехлинейку с разбитым прикладом.

Глава II

Шнапс, задрав ногу, обильно опрыскал раскалившееся на солнце колесо аэроплана и для закрепления эффекта дежурно гавкнул на пузатую резину. Авиаотрядному псу было скучно. Ничего сегодня не происходит – фонтанирующая сказочными ароматами полевая кухня не едет, добрый солдат Тимофеич, не жадный на кусочек вкусного, куда-то подался на старой кобыле, а злой унтер, шпыняющий не по делу, раскидал на солнце вонючие портянки и визгливо храпит в обнимку с винтовкой в тени крыла огромной этажерки. Шнапса она раздражала тем, что почти каждый день тарахтела так, что перебрехать нереально, и поднималась в небо, где по природе вещей быть положено только птицам.

Кобеля взметнул хруст веток в лесу, в следующую секунду его усеянное репьями тело уже несло навстречу выбравшемуся из зарослей орешника рыжему коню с офицером в седле.

– Здорово, Шнапс, – спрыгнувший с коня треплет пса по башке и быстрым шагом направляется к командному пункту на опушке.

Все подходы к нему занимает огромный штабель снарядных ящиков. Два заспанных распаренных солдатика с неуставно-голыми тщедушными торсами выскакивают из прохода между ящиками, изображая рвение, но сообразив, что из обмундирования на них только штаны, кидаются обратно одеваться.

На полянке между ящиков тлеет кучка угольков, из них выглядывают почерневшие сморщенные бока картофелин.

Гуляков подходит к срубленному из тонких сосенок столу, берёт чайник, заливает угли, делает несколько глотков, а остатки воды выливает себе на голову. Отряхивает ладонью ершик волос с двумя седыми прядями и глядит на топчущихся поодаль аэродромных служаек.

– У вас мозгами как, воины, ещё не испеклись? Здесь пятьсот пудов авиабомб. Желаете, чтобы пуговицы от ваших штанов вон за тем лесом нашли?

Солдаты послушно глядят в указанном направлении. Там в ответ грозовым раскатом долбят разрывы снарядов, вызывая в зарослях птичью панику.

– Где поручик Берестнев?

– Как давеча улетел, так и не возвращался, вашбродие.

– Есть еще кто из пилотов?

– Боле никого, все разлетелися.

– Ну, так и я разлечусь...

Офицер снимает с гвоздика, вбитого в березку, шлем и краги, вешает свою фуражку и идет к самолету, на ходу застегивая шлем. Возле аэроплана сопящий спросонья унтер суетливо наматывает портянки. Гуляков взбирается на крыло. Унтер, прижав винтовку к груди, причитает:

– Вашбродие, приказ у меня до аэроплана никого не допускать! Не подводите под трибунал! Башку снесут – почему дозволил!

– Не гунди, служивый. Германцы во фланг зашли, времени нет на согласования. Скажешь: ротмистр не подчинился и злостно улетел на разведку. А оружие – отнял...

Офицер выдергивает из рук унтера винтовку, бросает её в кабину, запрыгивает туда сам.

– От винта!..

Двигатель рычит, винтом разгоняя вокруг травяные волны. Унтер-офицер, прижав рукой фуражку, обреченно наблюдает за вверенным ему летательным аппаратом, нехотя бегущим по полю.

– Ну, куда нам без картохи. Офицера сытно кормятся, по-людски, а нам – каша с кашей через день, – солдат из аэродромного охранения с перемазанной сажей физиономией, выковыряв из залитого костра очередную картофелину, сноровисто ошкуривает ее и засовывает в рот.

– Етить его, гляди, подбили, – толкает его товарищ, показывая на дымную точку на горизонте. Аэроплан, по всему видно, тянувший на аэродром, раскачивается в воздухе и пропадает за лесом.

Унтер-офицер, снова разутый и распоясанный, приподнимается с шинели, на которой лежит:

– Ну вот, отлетался, голубь. Не расшибся если – всё равно пропал, там немчура в полверсте, сейчас стреножат. Так шта сам теперь не гунди...

...Свои окопы – вот они, кажется, рукой подать. Гуляков сквозь жгучий пот, пеленой застывший глаза, уже видит изломанную линию желтых брустверов на кромке леса. Ноги вязнут в песке, поручик на его плечах с каждым шагом тяжелеет, нужно присесть и подсаживаться под ношу поудобнее. Сверху и сбоку тонко тренькают пули, взбивая впереди фонтанчики высохшего суглинка. Пять пудов безвольно обмякшего тела он тащит уже саженей триста – оттуда, где дымит черным то, что недавно было аэропланом. Сесть, чтобы подобрать сбитого Берестнева, а затем и взлететь с короткого картофельного поля, как-то удалось, но вот до своих дотянуть не вышло. Наловчился германец заградительный огонь ставить. Когда три-четыре пулемета с разных точек перекрестно бьют по низко летящей этажерке, мало у нее шансов, уж больно цель заметная.

– Давайте, братья, чуток остался, – пожилой фельдфебель выглядывает тяжело бредущую по полю фигуру, порывается выскочить из окопа, чтобы помочь, но благоразумие берет верх, и он передергивает затвор трехлинейки. – Огонь, ребята, затыкай немчуру!..

Окоп взрывается хлопками выстрелов – помешать противнику свободно выцеливать тех двоих на поле, прикрыть, помочь им пройти последние метры...

Гуляков переваливает раненого через бруствер и головой вниз сползает в окоп следом, сдергивает шлем, отирает рукавом лицо и натужно отхаркивается, сплевывая вязкую слюну, черную от гари. Из рваной раны на голове Берестнева, мешком лежащего на дне окопа, вялой струйкой бежит кровь. Штаб-ротмистр зажимает ее ладонью и стонет от жгучей боли в багрово-красных, покрытых волдырями руках.

– Доктора и подводу, быстро!

Фельдфебель комкает плащ-палатку, подкладывает под голову раненого:

– Вон, на опушке подвода, и санитар там, и докторша. Сейчас подмогнут, потерпите. А на вот водочки, господин ротмистр!

Он шустро свинчивает крышку с фляги, протягивает Гулякову. Тот морщится, и старик-фельдфебель, крутанув фляжку, обильно глотает сам.

– Вот же удача какая, я думал – ну всё, хана, не дойти вам, дырок в спинах понаделают. До ста лет проживешь, вашбродие, не идёт к тебе пуля...

В ходе сообщения появляется толстый, страдающий одышкой, санитар, а следом за ним – стройная женщина в сером платье с красным крестом на груди. Она локтем отодвигает в сторону Гулякова, заслоняющего свет, приседает возле поручика и щёлкает замками потертого саквояжа, поданного санитаром. Прижимает тампон к ране, распечатывает пакет с бинтом, рванув облатку зубами, и сноровисто перетягивает голову так, что на виду остаются только нос и покрытые копотью уши Берестнева.

Выстрелы стихают, и сразу становится слышным пение птиц в лесу. Окопное воинство звякает снимаемыми касками, шуршит кисетами. Гуляков двумя пальцами выуживает из кармана портсигар и, морщась от боли в обожжённых руках, пытается его открыть.

– Вашбродие, погодь, не мучайся, – фельдфебель достает из портсигара папиросу, сует ее в рот Гулякову и подносит спичку. Тот садится на дно окопа, вытянув ноги, глубоко затягивается и прикрывает глаза: напряжение понемногу отпускает.

Многие на войне, выйдя из ситуации, когда жизнь дешевле копейки, или ничего не помнят, или их память вываливает беспорядочные и бессвязные куски событий. У Гулякова не так. После того, как смерть побывала рядом – колкими мурашками пробежала по затылку, мазнула холодом по солнечному сплетению – но они с ней почему-то разминулись, его мозг всегда показывает ему кино, хочет он этого или нет. В голове выщелкиваются последовательные кадры – срезы, четко выстроенные хронологически: полёт, фланговая группировка противника внизу, разворот, Берестнев, лежащий на поле возле аэроплана, посадка-взлет-посадка, пламя и боль в руках, тяжесть тела на плечах, чмокание пуль в песок...

Через раскинутые ноги Гулякова с носилками перешагивают санитары, уносящие поручика с головой, похожей на белый шар с красными узорами. Доктор, идущая следом, замечает кисти Гулякова цвета свежесваренных раков с папиросой, бережно зажатой большим и указательным пальцами.

– Что с вашими руками? Чем вас?

– Ротмистр Гуляков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.